
ЧЕРНОВИК
XX ВЕКА
ЛУБЯНКА

Варвара Романова
Черновик 20-го века

https://litres.ru/74874054
SelfPub; 2026

Аннотация

Июльский вечер 1992 года. Двадцатишестилетняя учительница математики Кира Навроцкая присела отдохнуть на скамейку у метро «Лубянка» — и провалилась прямо в июнь 1914 года. Виной всему оказался сбившийся рубиновый луч чудаковатого московского физика Целовского, решившего покорить время.

Оказавшись в Москве накануне Первой мировой войны и революции, Кира находит особняк своих предков на Таганке и знакомится с собственной годовалой бабушкой Алевтиной. Зная, какие страшные испытания ждут её семью и всю страну, она решается на отчаянный шаг: спасти родных от гибели, перехитрить царскую охранку и даже поспорить о судьбах России с самим Владимиром Ильичом Лениным в тихом цюрихском кафе.

Тем временем в 1992 году её возлюбленный, физик Андрей, получает пожелтевшее письмо из прошлого и запускает ответный луч. Но какую цену придётся заплатить героям, если история действительно свернёт на новый, благополучный путь — а их собственный, выстраданный мир исчезнет без следа?

Варвара Романова
Черновик 20-го века


ЧЕРНОВИК
XX ВЕКА
ЛУБЯНКА

«ЧЕРНОВИК 20 -го ВЕКА»

В пятом часу вечера, когда раскалённый московский асфальт лета девяносто второго года стал наконец остывать, выдыхая накопившийся за день бензиновый чад и уступая место сухой, пыльной прохладе, на скамейке аккурат напротив входа на станцию метро «Лубянка» сидела молодая особа. Звали её Кира Навроцкая. Сидела она удивительно прямо и смирно, сложив тонкие пальцы на коленях, и глядела на монументальную громаду «Детского мира» с тем особенным, щемящим выражением, какое бывает у людей, пытающихся разглядеть сквозь мутное стекло настоящего навсегда ушедший, тёплый берег детства.

В свои двадцать шесть лет Кира знала о жизни слишком много такого, чего знать ей вовсе не полагалось бы. Сколько она себя помнила, душу её точила тихая, неутолимая жажда большого, шумного, крепко сбитого семейства — такого, где по вечерам все собираются в уютной комнате у голубого экрана телевизора, звенят чайные ложки, и никто никуда не бежит сломя голову. Но судьба с самого начала распорядилась иначе, отмерив ей одиночество щедрой, беспощадной мерой. Отец растворился в неизвестности, когда крошечной Кире не исполнилось и полугода, оставив после себя лишь пустую вешалку в прихожей да глухую, недетскую

обиду. Мать, женщина тихая, светлая и удивительно стойкая, тянула дочку одна и сгорела, словно тонкая восковая свеча, едва Кире стукнуло семнадцать.

С тех пор в памяти Киры, точно драгоценные стёклышки в калейдоскопе, хранились редкие их поездки к Чёрному морю. Вспоминалась крошечная, побеленная известкой комнатушка с распахнутым окном, за которым темнели стройные кипарисы; вспоминался сладкий, лопающийся на губах инжир, сорванный прямо с ветки, и бесконечные часы в ласковой, солёной воде. А долгими московскими зимами мама усаживалась рядом за кухонный стол и, придвинув поближе настольную лампу под зелёным колпаком, терпеливо раскладывала перед дочкой запутанные алгебраические задачки. От неё-то и унаследовала Кира ту строгую, кристальную любовь к математике, которая позже стала её единственным куском хлеба.

После ухода матери последним островком тепла оставалась бабушка Алевтина, но вскоре не стало и её — и Кира осталась одна на всём огромном, взбаламученном свете. Порой она прикрывала веки и словно наяву видела их старую тесную кухню: как они вдвоём с бабушкой лепили пельмени или раскатывали тонкое, податливое тесто для пирогов с вишней, перепачкав мукой носы и ситцевые фартуки. Под мерный, убаюкивающий стук ножа по деревянной доске бабушка Алевтина любила заводить неспешные речи о своей огромной дореволюционной родне, о шумных, многолюд-

ных праздниках в родовом гнезде на Таганке, о многочисленных тётушках, дядьях и кузенах, которых безжалостно разметала по свету беспощадная русская история.

Теперь же в пустой квартире звенела одна лишь тишина. Чтобы хоть как-то удержаться на плаву в это голодное, лихое и окаянное время, когда деньги превращались в труху быстрее, чем успевали долежать до утра, Кира преподавала математику в обычной школе и с утра до позднего вечера моталась по всей Москве к частным ученикам.

Несколько лет назад в жизни её, казалось, брызнул было тёплый, спасительный луч — она повстречала Вадима. В ту пору он являл собой само воплощение доброты, заботы и мужской надёжности: носил ей охапки полевые ромашек, встречал у метро с горячим пирожком в промасленном бумажном кульке и клятвенно заверял, что непременно построит для них ту самую большую, дружную семью, о которой Кира грезила с малых лет. Они сыграли скромную свадьбу, но семейное счастье оказалось хрупким, точно первый ноябрьский ледок. Когда Кира тяжело, страшно заболела и светила медицины заговорили о долгих годах лечения и возможной инвалидности, добрый, ласковый Вадим переменился в одночасье. Лицо его вдруг заострилось, сделалось чужим, брезгливым и каменным; он с какой-то суетливой поспешностью уложил вещи в чемодан, бросив с порога, что не намерен хоронить свою молодость у постели немощной жены. Стиснув зубы, Кира в одиночку схватилась со смертью и

одолела недуг, вернув себе прежнюю лёгкость и здоровье, но сердце её с той поры закрылось на тяжёлый железный засов — верить людям она разучилась начисто.

Единственной отдушиной, спасавшей душу от полного оледенения, оставалась музыка. В детстве Кира с отличием окончила музыкальную школу и прекрасно владела фортепиано, а в студенческие годы лихо управлялась с синтезатором в институтской рок-группе. Недавно старый университетский приятель разыскал её и уговорил тряхнуть стариной. И вот уже несколько месяцев трижды в неделю по вечерам они давали вольные концерты прямо посреди Старого Арбата.

Вечерний Арбат девяносто второго года кипел, бурлил и переливался собственной, лихорадочной и пёстрой жизнью. Вдоль облупленных старинных фасадов, подперев спинами стены, сидели на раскладных стульчиках неформальные художники, зазывая прохожих за полчаса запечатлеть свой лик углём или пастелью; рядом длинноволосые юноши в потёртых косухах и пёстрых фенечках надрывно хрипели под расстроенные гитары песни Цоя и Гребенщикова, а чуть поодаль кучка уличных факиров и брейк-дансеров собирала вокруг себя гогочущую, разношёрстную толпу зевак. В этом бурлящем котле из звуков, табачного дыма, красок и пьянящего ветра перемен перемешались все: от восторженных студентов до ошалелых иностранных туристов.

Там-то, неподалёку от исписанной горькими признания-

ми стены Цоя, к Кире и подошёл молодой человек по имени Андрей — учёный-физик с внимательными, чуть рассеянными глазами и страстный поклонник русского рока. Он простоял в толпе целый час, не отрывая взгляда от её тонких пальцев, бегающих по чёрно-белым клавишам, а после выступления робко приблизился, искренне восхищаясь её игрой. Он даже щёлкнул её на свой старый, потёртый «Зенит» прямо у стены с портретом погибшего музыканта и с того вечера стал ухаживать за ней удивительно осторожно и бережно, словно боялся спугнуть редкую, недоверчивую птицу. Но в этот знойный вечер Кира поехала не на шумный Арбат, а сюда, на Лубянку — посидеть на той самой чугунной скамье, где когда-то они с мамой ели тающее мороженое после долгих прогулок по «Детскому миру».

Ничто, решительно ничто не предвещало чертовщины. И всё же она началась.

Вдруг показалось ей, что воздух перед самым её носом дрогнул, точно над раскалённым примусом. Голова пошла кругом легко и стремительно, безо всякой тошноты, но с ощущением, будто почва под ногами обратилась в зыбкий студень. Привычная, грохочущая Москва девяностых поплыла в стороны, вытянулась, и в ту же секунду сам белый свет начал рваться на куски, расползаясь по швам, как старая, истлевшая на чердаке кисея. В образовавшихся прорехах замелькали нелепые, призрачные видения: какие-то усатые физиономии в картузах, лоснящиеся конские крупы и

косые крыши старинных особняков. Особа икнуть не успела, как невидимая сила аккуратно уложила её на бок, и всё провалилось в бархатную черноту.

Очнулась она оттого, что прямо над ухом у неё оглушительно фыркнула лошадь.

Девушка открыла глаза и села на скамейке, хлопая ресницами. Метро исчезло. Вместо привычного асфальта под ногами лежал серый булыжник, по которому с адским грохотом катили пролётки. Мимо, размахивая кнутом и ругаясь самым чёрным образом, промчался извозчик в синем армяке. По тротуару чинно шествовали господа в котелках и дамы в шляпках с перьями, причём одна из дам, взглянув на странный наряд нашей героини, фыркнула ничуть не тише лошади и брезгливо поджала губы. Пахло в воздухе вовсе не бензином, а конским навозом, жареными каштанами и дешёвым табаком.

Почувствовав, что рассудок её вот-вот окончательно покинет пределы черепной коробки, Кира в отчаянии задрала голову вверх, ища взглядом хоть что-нибудь знакомое в этом безумном театре.

Громада знаменитого магазина стояла на своём законном месте, невозмутимая и величественная. Однако вывеска на ней претерпела разительную перемену. Вместо привычного «Детского мира» там красовались строгие, литые буквы: «Торговое товарищество Эйнемъ». И этот гордый, дореволюционный «ять» на конце слова глядел на неё сверху вниз

с такой наглой, несокрушимой уверенностью, что сомнений не оставалось: чёртова шутка удалась на славу, и век на дворе стоял совсем не тот.

Посидев ещё с минуту на злополучной скамье и убедившись, что наваждение не желает рассеиваться, Кира поняла, что сидеть так дальше не только глупо, но и решительно опасно. Городовой на углу уже начал поглядывать на неё с тем особенным, казённым подозрением, с каким власти во все времена взирают на граждан, одетых не по форме.

В голове у Киры, на удивление быстро прояснившейся, мелькнула спасительная мысль. Вспомнились ей рассказы бабушки Алевтины за лепкой пирогов и пожелтевшая фотография из семейного альбома: двухэтажный купеческий особняк с мезонином и резными наличниками на Таганке, аккурат на Земляном валу. Бабушка не раз говаривала, что до всех великих потрясений дом этот принадлежал их роду.

«Раз уж забросило меня к чёрту на кулички, надо идти к своим», — рассудила Кира и решительно зашагала вниз, к Москве-реке, чтобы вдоль набережной добраться до Таганского холма.

Путь этот оказался делом нелёгким. Вместо привычного гранита и ровного асфальта тянулась вдоль воды булыжная мостовая, гремели ломовые телеги, пахло речной тиной, дёгтем и свежим хлебом из ближних пекарен. Прохожие оборачивались на её странную, куцую по тем временам одёжку, а мальчишки-разносчики даже свистели вслед. Пока Ки-

ра петляла по кривым таганским переулкам, сгустились сумерки, зажглись редкие газовые фонари, и на Москву опустился густой, тёмный вечер.

На Земляном валу она едва не отчаялась, но вдруг сердце её ёкнуло: за чугунной решёткой палисадника стоял тот самый дом с фотографии — светлый, уютный, с тёплым желтоватым светом в окнах первого этажа.

На ходу сочиняя спасительную легенду, Кира решила назваться собственной фамилией — Навроцкой, благо это была и девичья фамилия её бабушки, — и вспомнила смутные разговоры о какой-то дальней родне из Ростова, с которой в те времена поддерживали переписку. Подойдя к дубовой парадной двери, она ухватилась за медное кольцо и принялась стучать — сперва робко, а потом всё настойчивее, понимая, что ночевать на булыжнике ей никак не улыбается.

Дверь отворилась не сразу. На пороге показалась молоденькая служанка в белом переднике и кружевной наколке, с керосиновой лампой в руке. Оглядев незваную гостью с ног до головы с выражением крайнего изумления, она уже собралась было захлопнуть дверь, но Кира выпалила скороговоркой:

— Ради бога, впустите! Я Навроцкая, из Ростова, дальняя родственница... Обокрали на вокзале, идти совершенно некуда!

Служанка растерянно моргнула, пробормотала что-то невнятное и, оставив гостью в просторной передней, пахну-

щей воском и лавандой, поспешила в глубь дома. Оттуда доносился тонкий, надрывный детский плач, который никак не удавалось унять.

Через минуту в прихожую вышла хозяйка — статная молодая женщина в тёмном домашнем платье, с усталым, но добрым лицом. На руках она качала крошечную девочку в кружевном чепчике, которая заливалась горючими слезами и сучила ручками.

— Позвольте, какая же вы родственница? — начала было хозяйка строго, но в ту же секунду замолчала.

Кира смотрела не на неё. Всей душой она впилась в личико плачущего младенца — в эти знакомые до боли серые глаза, в крошечную ямочку на подбородке, которую она видела сотни раз на старых карточках и в чертах собственной, недавно ушедшей бабушки Алевтины.

И тут свершилось чудо, какого не объяснил бы ни один профессор медицины. Едва взгляд малышки упал на Киру, плач оборвался на полуслове. Девочка замерла, моргнула мокрыми ресницами, а затем просияла самой настоящей, осмысленной улыбкой и радостно потянула к Кире обе ручонки, словно признав в ней самого родного на свете человека.

В прихожей воцарилась мёртвая тишина. Хозяйка застыла с открытым ртом, служанка выронила полотенце, а даже старые напольные часы в углу, казалось, на миг перестали тикать, поражённые этой необъяснимой, нездешней встречей

двух эпох.

С этого мгновения все казённые подозрения и светские условности в доме Навроцких рассыпались в прах. Крошечная Алевтина оказалась для Киры лучшей охранной грамотой, надежнее любой гербовой бумаги с сургучной печатью. Едва малышка перекочевала на руки к гостье, она вцепилась крохотными пальчиками в воротник её странной кофты, прижалась тёплой щекой к плечу и затихла с видом существа, наконец-то обретшего потерянное сокровище. Ни за какие коврижки не желала она расставаться с Кирой ни на секунду.

Хозяйка, которую звали Еленой Сергеевной, провела нежданную родственницу в просторную гостиную с плюшевыми креслами и зелёным абажуром над круглым столом. Пока Киру поили горячим чаем из пузатого самовара и кормили холодным ростбифом с пирожками, она, не выпуская ребёнка из рук, сбивчиво, но убедительно объясняла, что в Ростове ей приходилось много служить няней при малых детях, оттого-то, мол, и знают её руки особый подход к младенцам. В душе её, так долго мечтавшей о собственных детях и большой семье, разливалось забытое, щемящее тепло.

Елена Сергеевна слушала с тихим изумлением, и в её усталых глазах всё яснее проступало какое-то необъяснимое, почти родственное расположение. Казалось, сама душа её тянулась к этой странной девушке с таким знакомым разрезом глаз и тихим, грудным голосом.

Когда же наступила пора ложиться спать и хозяйка распорядилась отвести гостье комнату внизу, при людской, в доме разразилась настоящая буря. Стоило Кире сделать шаг к двери, как малышка залилась таким отчаянным, безутешным плачем, будто у неё отнимали саму жизнь. Ни уговоры матери, ни погремушки не действовали. Успокоилась девочка лишь тогда, когда Кира вернулась, улеглась на узкую кожаную кушетку в самой детской, прямо у резной кроватки, и просунула руку сквозь деревянные прутья, позволив крошечным пальчикам крепко сжать свой мизинец.

Утром, едва в окна детской заглянуло бледное московское солнце, Елена Сергеевна вошла к ним уже с готовым решением. Глядя на мирно сопящую дочку и на утомлённую, но счастливую Киру, она без долгих предисловий предложила ей остаться в доме в качестве старшей няни — на полном пансионе и с хорошим жалованьем. Кира с радостью согласилась, понимая, что лучшего убежища в этом чужом столетии ей не сыскать.

Днём, когда малышка уснула после прогулки в саду, Кира спустилась в столовую выпить чаю. На краешке дубового буфета лежала свежая утренняя газета «Русское слово», оставленная хозяином дома. Кира машинально развернула хрустящий лист, пробежала глазами по крупным заголовкам о биржевых новостях, о приёме у генерал-губернатора, о каком-то громком скандале в Художественном театре — и вдруг взгляд её замер на самой верхней строчке под назва-

нием газеты.

Там чёрным по белому, чётким типографским шрифтом значилось: *«Среда, 18 июня 1914 года»*.

Газетный лист тихо задрожал в её пальцах. По спине пробежал ледяной, колючий холодок, какой бывает только перед большой грозой. Кира медленно опустилась на стул, глядя в солнечное окно на безмятежный, цветущий палисадник. В этом уютном, пахнущем воском и сиренью мире никто ещё ни о чём не подозревал: ни о выстреле в Сараеве, до которого оставались считанные дни, ни о грядущей великой войне, ни о страшном пожаре революции, которому суждено было смести с лица земли и этот особняк на Земляном валу, и весь этот спокойный, неторопливый уклад жизни.

А между тем в ту самую пору на другом конце города, в огромном пятиэтажном доходном доме страхового общества «Россия» на Мясницкой, жил человек, чьи дерзкие опыты и послужили причиной всей этой невероятной кутерьмы. Звали его Андрей Викентьевич Целовский.

Занимал он на четвёртом этаже целую шестикомнатную квартиру, которую на собственные, весьма немалые средства обратил в настоящую физическую лабораторию, наводящую священный ужас на прислугу и дворников. Широкие окна его кабинета выходили аккурат на Лубянскую площадь, открывая вид и на чугунный фонтан Витали, и на древнюю

Гребневскую церковь, и на громаду торгового дома «Эйнемъ». Андрей Викентьевич был одержим идеей, над которой в те годы лишь посмеивались академические светила: он создавал аппарат для перемещения материальных предметов сквозь толщу времени посредством концентрированного светового — лазерного — луча.

Прототип его хроно-излучателя, громоздившийся посреди кабинета на дубовом столе, представлял собой причудливое сооружение из полированной меди, кварцевых линз, батареи лейденских банок и длинной стеклянной трубки, наполненной разрежённым газом, в которой при подаче тока вспыхивало призрачное рубиновое сияние. Рядом располагался сложный латунный лимб с тончайшей шкалой временной калибровки.

Накануне вечером, в седьмом часу, Целовский решился наконец на первый настоящий опыт. Осторожно повернув рукоять калибровки и установив стрелку на отметку «1992 год», он направил оптическую трубу излучателя на старый фолиант в кожаном переплёте, лежавший на соседнем столике. Рубиновый луч вспыхнул с тихим, певучим гудением, но в ту же секунду пол под ногами едва заметно дрогнул от проехавшего внизу тяжёлого ломового обоза. Тяжёлый штатив покосился, зеркало сбилось с оси, и тонкий, ослепительный пучок света скользнул в сторону, пронзил распахнутое окно, упал вниз, прямо на Лубянскую площадь — и бесследно исчез в вечернем воздухе, словно канул в невидимый колодец.

Целовский, побледнев, метнулся к прибору и мгновенно перевёл стрелку калибровки обратно на родной четырнадцатый год. В тот же миг рубиновый луч вновь прочертил воздух над площадью, уперевшись в пустую чугунную скамью напротив «Эйнема». Учёный схватился за голову: луч исчез потому, что на несколько мгновений он действительно пробил толщу десятилетий и ушёл в 1992 год!

Едва дождавшись утра, взъерошенный и не спавший всю ночь Андрей Викентьевич выбежал на площадь и принялся с горящими глазами расспрашивать дежурных городовых и уличных торговцев, не приключилось ли накануне вечером чего-нибудь странного у скамейки напротив магазина. Пожилой усатый городовой, покрутив ус и припомнив вчерашнее дежурство, с недоумением поведал барину о какой-то престранной девице: дескать, сидела на лавке в немыслимом коротком платье чуть ниже колена, с чудной, растрёпанной причёской, озиралась как полоумная, а после вскочила и быстро зашагала вниз, к Москве-реке.

Целовский вернулся в свою лабораторию в состоянии крайнего волнения. Сложив всё воедино, он понял невероятную, потрясающую душу истину: его сбившийся луч не просто заглянул в грядущее столетие — он выхватил оттуда живого человека, забросив бедную девушку сюда, в лето 1914 года.

Поняв, какую невероятную кашу заварил его неосторожный луч, Андрей Викентьевич Целовский (в городе его по

созвучию и учёным чудачествам иные уже прозвали москвичом-Циолковским) потерял всякий покой. Совесть терзала его пуще зубной боли: выхватить живую душу из привычного мира и бросить её, беззащитную, посреди чужого столетия — это, знаете ли, почище любого разбоя!

Не мешкая ни часа, учёный бросился в ближайшую типолитографию на Сретенке и, не торгуясь, заказал огромную стопку объявлений на плотной желтоватой бумаге. Текст он сочинил сам — осторожный, чтобы не привлечь внимания жандармского управления, но совершенно прозрачный для той единственной, кому он предназначался. Крупным, чётким шрифтом там значилось:

«Ежели вы 17 июня сего года вдруг попали совершенно в другое место и находитесь ныне не там, где вам должно быть, убедительно прошу вас обратиться по адресу: Мясницкая улица, дом страхового общества „Россия“, квартира 14. Я верну вас на ваше место, не сомневайтесь. Я учёный и знаю, что и как происходило».

Получив свежие, пахнущие типографской краской листы, Андрей Викентьевич разыскал бойкого артельного расклейщика афиш, сунул ему в руку хрустящую трёшку и строго-настрого наказал: клеить эти объявления на круглой афишной тумбе аккурат напротив злополучной лавки у «Эйнема» каждое божье утро, невзирая ни на дождь, ни на ветер, ни на суровых городовых, обожающих срывать всякую непонятную бумагу.

Расклейщик оказался человеком слова, и уже на следующий день жёлтый листок запестрел среди объявлений о бенефисах в Малом театре и продаже лучших швейных машинок «Зингер».

Между тем Кира, прожив в особняке Навроцких на Земляном валу несколько дней и немного оправившись от первого потрясения, не сидела сложа руки. Днём она гуляла с крошечной Алевтиной в тенистом саду, пела ей тихие колыбельные, от которых в горле всякий раз вставал горький комок, а по ночам, лежа на узкой кушетке в детской, мучительно ломала голову. С одной стороны, здесь, в этом уютном доме, она впервые в жизни обрела ту самую большую, тёплую семью, о которой грезила с детства; но с другой — её ждала своя жизнь, друзья на Арбате, ждал Андрей с его бережным, внимательным взглядом, да и мысль о надвигающейся грозе четырнадцатого года не давала дышать свободно.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.